# Александр Куприн

# Поединок

## XV

Первого мая полк выступил в лагерь, который из года в год находился в одном и том же месте, в двух верстах от города, по ту сторону железнодорожного полотна. Младшие офицеры, по положению, должны были жить в лагерное время около своих рот в деревянных бараках, но Ромашов остался на городской квартире, потому что офицерское помещение шестой роты пришло в страшную ветхость и грозило разрушением, а на ремонт его не оказывалось нужных сумм. Приходилось делать в день лишних четыре конца: на утреннее ученье, потом обратно в собрание — на обед, затем на вечернее ученье и после него снова в город. Это раздражало и утомляло Ромашова. За первые полмесяца лагерей он похудел, почернел и глаза у него ввалились.

Впрочем, и всем приходилось нелегко: и офицерам и солдатам. Готовились к майскому смотру и не знали ни пощады, на устали. Ротные командиры морили свои роты по два и по три лишних часа на плацу. Во время учений со всех сторон, изо всех рот и взводов слышались беспрерывно звуки пощечин. Часто издали, шагов за двести, Ромашов наблюдал, как какой-нибудь рассвирепевший ротный принимался хлестать всех своих солдат поочередно, от левого до правого фланга. Сначала беззвучный взмах руки и — только спустя секунду — сухой треск удара, и опять, и опять, и опять… В этом было много жуткого и омерзительного. Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке, — били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю. Никому не приходило в голову жаловаться; наступил какой-то общий чудовищный, зловещий кошмар; какой-то нелепый гипноз овладел полком. И все это усугублялось страшной жарой. Май в этом году был необыкновенно зноен.

У всех нервы напряглись до последней степени. В офицерском собрании во время обедов и ужинов все чаще и чаще вспыхивали нелепые споры, беспричинные обиды, ссоры. Солдаты осунулись и глядели идиотами. В редкие минуты отдыха из палаток не слышалось ни шуток, ни смеха. Однако их все-таки заставляли по вечерам, после переклички, веселиться. И они, собравшись в кружок, с безучастными лицами равнодушно гаркали:

Для расейского солдата

Пули, бонбы ничего,

С ними он запанибрата,

Все безделки для него.

А потом играли на гармонии плясовую, и фельдфебель командовал:

— Грегораш, Скворцов, у круг! Пляши, сукины дети!.. Веселись!

Они плясали, но в этой пляске, как и в пении, было чтототото деревянное, мертвое, от чего хотелось плакать.

Одной только пятой роте жилось легко и свободно. Выходила она на ученье часом позже других, а уходила часом раньше. Люди в ней были все, как на подбор, сытые, бойкие, глядевшие осмысленно и смело в глаза всякому начальству; даже мундиры и рубахи сидели на них как-то щеголеватее, чем в других ротах. Командовал ею капитан Стельковский, странный человек: холостяк, довольно богатый для полка, — он получал откуда-то ежемесячно около двухсот рублей, — очень независимого характера, державшийся сухо, замкнуто и отдаленно с товарищами и вдобавок развратник. Он заманивал к себе в качестве прислуги молоденьких, часто несовершеннолетних девушек из простонародья и через месяц отпускал их домой, по-своему щедро наградив деньгами, и это продолжалось у него из года в год с непостижимой правильностью. В роте у него не дрались и даже не ругались, хотя и не особенно нежничали, и все же его рота по великолепному внешнему виду и по выучке не уступила бы любой гвардейской части. В высшей степени обладал он терпеливой, хладнокровной и уверенной настойчивостью и умел передавать ее своим унтер-офицерам. Того, чего достигали в других ротах посредством битья, наказаний, оранья и суматохи в неделю, он спокойно добивался в один день. При этом он скупо тратил слова и редко возвышал голос, но когда говорил, то солдаты окаменевали. Товарищи относились к нему неприязненно, солдаты же любили воистину: пример, может быть, единственный во всей русской армии.

Наступило наконец пятнадцатое мая, когда, по распоряжению корпусного командира, должен был состояться смотр. В этот день во всех ротах, кроме пятой, унтер-офицеры подняли людей в четыре часа. Несмотря на теплое утро, невыспавшиеся, зевавшие солдаты дрожали в своих каламянковых рубахах. В радостном свете розового безоблачного утра их лица казались серыми, глянцевитыми и жалкими.

В шесть часов явились к ротам офицеры. Общий сбор полка был назначен в десять часов, но ни одному ротному командиру, за исключением Стельковского, не пришла в голову мысль дать людям выспаться и отдохнуть перед смотром. Наоборот, в это утро особенно ревностно и суетливо вбивали им в голову словесность и наставления к стрельбе, особенно густо висела в воздухе скверная ругань и чаще обыкновенного сыпались толчки и зуботычины.

В девять часов роты стянулись на плац, шагах в пятистах впереди лагеря. Там уже стояли длинной прямой линией, растянувшись на полверсты, шестнадцать ротных желонеров с разноцветными флажками на ружьях. Желонерный офицер поручик Ковако, один из главных героев сегодняшнего дня, верхом на лошади носился взад и вперед вдоль этой линии, выравнивая ее, скакал с бешеным криком, распустив поводья, с шапкой на затылке, весь мокрый и красный от старания. Его шашка отчаянно билась о ребра лошади, а белая худая лошадь, вся усыпанная от старости гречкой и с бельмом на правом глазу, судорожно вертела коротким хвостом и издавала в такт своему безобразному галопу резкие, отрывистые, как выстрелы, звуки. Сегодня от поручика Ковако зависело очень многое: по его желонерам должны были выстроиться в безукоризненную нитку все шестнадцать рот полка.

Ровно без десяти минут в десять вышла из лагеря пятая рота. Твердо, большим частым шагом, от которого равномерно вздрагивала земля, прошли на глазах у всего полка эти сто человек, все, как на подбор, ловкие, молодцеватые, прямые, все со свежими, чисто вымытыми лицами, с бескозырками, лихо надвинутыми на правое ухо. Капитан Стельковский, маленький, худощавый человек в широчайших шароварах, шел небрежно и не в ногу, шагах в пяти сбоку правого фланга, и, весело щурясь, наклоняя голову то на один, то на другой бок, присматривался к равнению. Батальонный командир, подполковник Лех, который, как и все офицеры, находился с утра в нервном и бестолковом возбуждении, налетел было на него с криком за поздний выход на плац, но Стельковский хладнокровно вынул часы, посмотрел на них и ответил сухо, почти пренебрежительно:

— В приказе сказано собраться к десяти. Теперь без трех минут десять. Я не считаю себя вправе морить людей зря.

— Не разговарива-а-ать! — завопил Лех, махая руками и задерживая лошадь. — Прошу, гето, молчать, когда вам делают замечания по службе-е!..

Но он все-таки понял, что был неправ, и потому сейчас же отъехал и с ожесточением набросился на восьмую роту, в которой офицеры проверяли выкладку ранцев:

— Гет-то, что за безобразие! Гето, базар устроили? Мелочную лавочку? Гето, на охоту ехать — собак кормить? О чем раньше думали! Одеваться-а!

В четверть одиннадцатого стали выравнивать роты. Это было долгое, кропотливое и мучительное занятие. От желонера до желонера туго натянули на колышки длинные веревки. Каждый солдат первой шеренги должен был непременно с математической точностью коснуться веревки самыми кончиками носков — в этом заключался особенный строевой шик. Но этого было еще мало: требовалось, чтобы в створе развернутых носков помещался ружейный приклад и чтобы наклон всех солдатских тел оказался одинаковым. И ротные командиры выходили из себя, крича: «Иванов, подай корпус вперед! Бурченко, правое плечо доверни в поле! Левый носок назад! Еще!..»

В половине одиннадцатого приехал полковой командир. Под ним был огромный, видный гнедой мерин, весь в темных яблоках, все четыре ноги белые до колен. Полковник Шульгович имел на лошади внушительный, почти величественный вид и сидел прочно, хотя чересчур по-пехотному, на слишком коротких стременах. Приветствуя полк, он крикнул молодцевато, с наигранным веселым задором:

— Здорово, красавцы-ы-ы!..

Ромашов вспомнил свой четвертый взвод и в особенности хилую, младенческую фигуру Хлебникова и не мог удержаться от улыбки: «Нечего сказать, хороши красавцы!»

При звуках полковой музыки, игравшей встречу, вынесли знамена. Началось томительное ожидание. Далеко вперед, до самого вокзала, откуда ждали корпусного командира, тянулась цепь махальных, которые должны были сигналами предупредить о прибытии начальства. Несколько раз поднималась ложная тревога. Поспешно выдергивались колышки с веревками, полк выравнивался, подтягивался, замирал в ожидании, — по проходило несколько тяжелых минут, и людям опять позволяли стоять вольно, только не изменять положение ступней. Впереди, шагах в трехстах от строя, яркими разноцветными пятнами пестрели дамские платья, зонтики и шляпки: там стояли полковые дамы, собравшиеся поглядеть на парад. Ромашов знал отлично, что Шурочки нет в этой светлой, точно праздничной группе, но когда он глядел туда, — всякий раз чтототото сладко ныло у него около сердца, и хотелось часто дышать от странного, беспричинного волнения.

Вдруг, точно ветер, пугливо пронеслось по рядам одно торопливое короткое слово: «Едет, едет!» Всем как-то сразу стало ясно, что наступила настоящая, серьезная минута. Солдаты, с утра задерганные и взвинченные общей нервностью, сами, без приказания, суетливо выравнивались, одергивались и беспокойно кашляли.

— Смиррна! Желонеры, по места-ам! — скомандовал Шульгович.

Скосив глаза направо, Ромашов увидел далеко на самом краю поля небольшую тесную кучку маленьких всадников, которые в легких клубах желтоватой пыли быстро приближались к строю. Шульгович со строгим и вдохновенным лицом отъехал от середины полка на расстояние, по крайней мере вчетверо больше, чем требовалось. Щеголяя тяжелой красотой приемов, подняв кверху свою серебряную бороду, оглядывая черную неподвижную массу полка грозным, радостным и отчаянным взглядом, он затянул голосом, покатившимся по всему полю:

— По-олк, слуш-а-ай! На крра-а-а…

Он выдержал нарочно длинную паузу, точно наслаждаясь своей огромной властью над этими сотнями людей и желая продлить это мгновенное наслаждение, и вдруг, весь покраснев от усилия, с напрягшимися на шее жилами, гаркнул всей грудью:

— …ул!..

Раз-два! Всплеснули руки о ружейные ремни, брякнули затворы о бляхи поясов. С правого фланга резко, весело и отчетливо понеслись звуки встречного марша. Точно шаловливые, смеющиеся дети, побежали толпой резвые флейты и кларнеты, с победным торжеством вскрикнули и запели высокие медные трубы, глухие удары барабана торопили их блестящий бег, и не поспевавшие за ним тяжелые тромбоны ласково ворчали густыми, спокойными, бархатными голосами. На станции длинно, тонко и чисто засвистел паровоз, и этот новый мягкий звук, вплетясь в торжествующие медные звуки оркестра, слился с ним в одну чудесную, радостную гармонию. Какая-то бодрая, смелая волна вдруг подхватила Ромашова, легко и сладко подняв его на себе. С проникновенной и веселой ясностью он сразу увидел и бледную от зноя голубизну неба, и золотой свет солнца, дрожавший в воздухе, и теплую зелень дальнего поля, — точно он не замечал их раньше, — и вдруг почувствовал себя молодым, сильным, ловким, гордым от сознания, что и он принадлежит к этой стройной, неподвижной могучей массе людей, таинственно скованных одной незримой волей…

Шульгович, держа обнаженную шашку у самого лица, тяжелым галопом поскакал навстречу.

Сквозь грубо-веселые, воинственные звуки музыки послышался спокойный, круглый голос генерала:

— Здорово, первая рота!

Солдаты дружно, старательно и громко закричали. И опять на станции свистнул паровоз — на этот раз отрывисто, коротко и точно с задором. Здороваясь поочередно с ротами, корпусный командир медленно ехал по фронту. Уже Ромашов отчетливо видел его грузную, оплывшую фигуру с крупными поперечными складками кителя под грудью и на жирном животе, и большое квадратное лицо, обращенное к солдатам, и щегольской с красными вензелями вальтрап на видной серой лошади, и костяные колечки мартингала, и маленькую ногу в низком лакированном сапоге.

— Здорово, шестая!

Люди закричали вокруг Ромашова преувеличенно громко, точно надрываясь от собственного крика. Генерал уверенно и небрежно сидел на лошади, а она, с налившимися кровью добрыми глазами, красиво выгнув шею, сочно похрустывая железом мундштука во рту и роняя с морды легкую белую пену, шла частым, танцующим, гибким шагом. «У него виски седые, а усы черные, должно быть нафабренные», — мелькнула у Ромашова быстрая мысль.

Сквозь золотые очки корпусный командир внимательно вглядывался своими темными, совсем молодыми, умными и насмешливыми глазами в каждую пару впивавшихся в него глаз. Вот он поравнялся с Ромашовым и приложил руку к козырьку фуражки. Ромашов стоял, весь вытянувшись, с напряженными мускулами ног, крепко, до боли, стиснув эфес опущенной вниз шашки. Преданный, счастливый восторг вдруг холодком пробежал по наружным частям его рук и ног, покрыв их жесткими пупырышками. И, глядя неотступно в лицо корпусного командира, он подумал про себя, по своей наивной детской привычке: «Глаза боевого генерала, с удовольствием остановились на стройной, худощавой фигуре молодого подпоручика».

Корпусный командир объехал таким образом поочередно все роты, здороваясь с каждой. Сзади него нестройной блестящей группой двигалась свита: около пятнадцати штабных офицеров на прекрасных, выхоленных лошадях. Ромашов и на них глядел теми же преданными глазами, но никто из свиты не обернулся на подпоручика: все эти парады, встречи с музыкой, эти волнения маленьких пехотных офицеров были для них привычным, давно наскучившим делом. И Ромашов со смутной завистью и недоброжелательством почувствовал, что эти высокомерные люди живут какой-то особой, красивой, недосягаемой для него, высшей жизнью.

Кто-то издали подал музыке знак перестать играть. Командир корпуса крупной рысью ехал от левого фланга к правому вдоль линии полка, и за ним разнообразно волнующейся, пестрой, нарядной вереницей растянулась его свита. Полковник Шульгович подскакал к первой роте. Затягивая поводья своему гнедому мерину, завалившись тучным корпусом назад, он крикнул тем неестественно свирепым, испуганным и хриплым голосом, каким кричат на пожарах брандмайоры:

— Капитан Осадчий! Выводите роту-у! Жива-а!..

У полкового командира и у Осадчего на всех ученьях было постоянное любовное соревнование в голосах. И теперь даже в шестнадцатой роте была слышна щегольская металлическая команда Осадчего:

— Рота, на плечо! Равнение на середину, шагом марш!

У него в роте путем долгого, упорного труда был выработан при маршировке особый, чрезвычайно редкий и твердый шаг, причем солдаты очень высоко поднимали ногу вверх и с силою бросали ее на землю. Это выходило громко и внушительно и служило предметом зависти для других ротных командиров.

Но не успела первая рота сделать и пятидесяти шагов, как раздался нетерпеливый окрик корпусного командира:

— Это что такое? Остановите роту. Остановите! Ротный командир, пожалуйте ко мне. Что вы тут показываете? Что это: похоронная процессия? Факельцуг? Раздвижные солдатики? Маршировка в три темпа? Теперь, капитан, не николаевские времена, когда служили по двадцати пяти лет. Сколько лишних дней у вас ушло на этот кордебалет! Драгоценных дней!

Осадчий стоял перед ним, высокий, неподвижный, сумрачный, с опущенной вниз обнаженной шашкой. Генерал помолчал немного и продолжал спокойнее, с грустным и насмешливым выражением:

— Небось людей совсем задергали шагистикой. Эх, вы, Аники-воины. А спроси у вас… да вот, позвольте, как этого молодчика фамилия?

Генерал показал пальцем на второго от правого фланга солдата.

— Игнатий Михайлов, ваше превосходительство, — безучастным солдатским деревянным басом ответил Осадчий.

— Хорошо-с. А что вы о нем знаете? Холост он? Женат? Есть у него дети? Может быть, у него есть там в деревне какое-нибудь горе? Беда? Нуждишка? Что?

— Не могу знать, ваше превосходительство. Сто человек. Трудно запомнить.

— Трудно запомнить, — с горечью повторил генерал. — Ах, господа, господа! Сказано в Писании: духа не угашайте, а вы что делаете? Ведь эта самая святая, серая скотинка, когда дело дойдет до боя, вас своей грудью прикроет, вынесет вас из огня на своих плечах, на морозе вас своей шинелишкой дырявой прикроет, а вы — не могу знать.

И, мгновенно раздражаясь, перебирая нервно и без нужды поводья, генерал закричал через голову Осадчего на полкового командира:

— Полковник, уберите эту роту. И смотреть не буду. Уберите, уберите сейчас же! Петрушки! Картонные паяцы! Чугунные мозги!

С этого начался провал полка. Утомление и запуганность солдат, бессмысленная жестокость унтер-офицеров, бездушное, рутинное и халатное отношение офицеров к службе — все это ясно, но позорно обнаружилось на смотру. Во второй роте люди не знали «Отче наш», в третьей сами офицеры путались при рассыпном строе, в четвертой с каким-то солдатом во время ружейных приемов сделалось дурно. А главное — ни в одной роте не имели понятия о приемах против неожиданных кавалерийских атак, хотя готовились к ним и знали их важность. Приемы эти были изобретены и введены в практику именно самим корпусным командиром и заключались в быстрых перестроениях, требовавших всякий раз от начальников находчивости, быстрой сообразительности и широкой личной инициативы. И на них срывались поочередно все роты, кроме пятой.

Посмотрев роту, генерал удалял из строя всех офицеров и унтер-офицеров и спрашивал людей, всем ли довольны, получают ли все по положению, нет ли жалоб и претензий? Но солдаты дружно гаркали, что они «точно так, всем довольны». Когда спрашивали первую роту, Ромашов слышал, как сзади него фельдфебель его роты, Рында, говорил шипящим и угрожающим голосом:

— Вот объяви мне кто-нибудь претензию! Я ему потом таку объявлю претензию!

Зато тем великолепнее показала себя пятая рота. Молодцеватые, свежие люди проделывали ротное ученье таким легким, бодрым и живым шагом, с такой ловкостью и свободой, что, казалось, смотр был для них не страшным экзаменом, а какой-то веселой и совсем нетрудной забавой. Генерал еще хмурился, но уже бросил им: «Хорошо, ребята!» — это в первый раз за все время смотра.

Приемами против атак кавалерии Стельковский окончательно завоевал корпусного командира. Сам генерал указывал ему противника внезапными, быстрыми фразами: «Кавалерия справа, восемьсот шагов», и Стельковский, не теряясь ни на секунду, сейчас же точно и спокойно останавливал роту, поворачивал ее лицом к воображаемому противнику, скачущему карьером, смыкал, экономя время, взводы — головной с колена, второй стоя, — назначал прицел, давал два или три воображаемых залпа и затем командовал: «На руку!» — «Отлично, братцы! Спасибо, молодцы!» — хвалил генерал.

После опроса рота опять выстроилась развернутым строем. Но генерал медлил ее отпускать. Тихонько проезжая вдоль фронта, он пытливо, с особенным интересом, вглядывался в солдатские лица, и тонкая, довольная улыбка светилась сквозь очки в его умных глазах под тяжелыми, опухшими веками. Вдруг он остановил коня и обернулся назад, к начальнику своего штаба:

— Нет, вы поглядите-ка, полковник, каковы у них морды! Пирогами вы их, что ли, кормите, капитан? Послушай, эй ты, толсторожий, — указал он движением подбородка на одного солдата, — тебя Коваль звать?

— Тошно так, ваше превосходительство, Михаила Борийчук! — весело, с довольной детской улыбкой крикнул солдат.

— Ишь ты, а я думал, Коваль. Ну, значит, ошибся, — пошутил генерал. — Ничего не поделаешь. Не удалось… — прибавил он веселую, циничную фразу.

Лицо солдата совсем расплылось в глупой и радостной улыбке.

— Никак нет, ваше превосходительство! — крикнул он еще громче. — Так что у себя в деревне займался кузнечным мастерством. Ковалем был.

— А, вот видишь! — генерал дружелюбно кивнул головой. Он гордился своим знанием солдата. — Что, капитан, он у вас хороший солдат?

— Очень хороший. У меня все они хороши, — ответил Стельковский своим обычным, самоуверенным тоном.

Брови генерала сердито дрогнули, но губы улыбнулись, и от этого все его лицо стало добрым и старчески-милым.

— Ну, это вы, капитан, кажется, того… Есть же штрафованные?

— Ни одного, ваше превосходительство. Пятый год ни одного.

Генерал грузно нагнулся на седле и протянул Стельковскому свою пухлую руку в белой незастегнутой перчатке.

— Спасибо вам великое, родной мой, — сказал он дрожащим голосом, и его глаза вдруг заблестели слезами. Он, как и многие чудаковатые боевые генералы, любил иногда поплакать. — Спасибо, утешили старика. Спасибо, богатыри! — энергично крикнул он роте.

Благодаря хорошему впечатлению, оставленному Стельковским, смотр и шестой роты прошел сравнительно благополучно. Генерал не хвалил, но и не бранился. Однако и шестая рота осрамилась, когда солдаты стали колоть соломенные чучела, вшитые в деревянные рамы.

— Не так, не так, не так, не так! — горячился корпусный командир, дергаясь на седле. — Совсем не так! Братцы, слушай меня. Коли от сердца, в самую середку, штык до трубки. Рассердись! Ты не хлебы в печку сажаешь, а врага колешь…

Прочие роты проваливались одна за другой. Корпусный командир даже перестал волноваться и делать свои характерные, хлесткие замечания и сидел на лошади молчаливый, сгорбленный, со скучающим лицом. Пятнадцатую и шестнадцатую роты он и совсем не стал смотреть, а только сказал с отвращением, устало махнув рукою:

— Ну, это… недоноски какие-то.

Оставался церемониальный марш. Весь полк свели в тесную, сомкнутую колонну, пополуротно. Опять выскочили вперед желонеры и вытянулись против правого фланга, обозначая линию движения. Становилось невыносимо жарко. Люди изнемогали от духоты и от тяжелых испарений собственных тел, скученных в малом пространстве, от запаха сапог, махорки, грязной человеческой кожи и переваренного желудком черного хлеба.

Но перед церемониальным маршем все ободрились. Офицеры почти упрашивали солдат: «Братцы, вы уж постарайтесь пройти молодцами перед корпусным. Не осрамите». И в этом обращении начальников с подчиненными проскальзывало теперь чтототото заискивающее, неуверенное и виноватое. Как будто гнев такой недосягаемо высокой особы, как корпусный командир, вдруг придавил общей тяжестью офицера и солдата, обезличил и уравнял их и сделал в одинаковой степени испуганными, растерянными и жалкими.

— Полк, смиррна-а… Музыканты, на лннию-у! — донеслась издали команда Шульговича.

И все полторы тысячи человек на секунду зашевелились с глухим, торопливым ропотом и вдруг неподвижно затихли, нервно и сторожко вытянувшись.

Шульговича не было видно. Опять докатился его зычный, разливающийся голос:

— Полк, на плечо-о-о!..

Четверо батальонных командиров, повернувшись на лошадях к своим частям, скомандовали вразброд:

— Батальон, на пле… — и напряженно впились глазами в полкового командира.

Где-то далеко впереди полка сверкнула в воздухе и опустилась вниз шашка. Это был сигнал для общей команды, и четверо батальонных командиров разом вскрикнули:

— …чо!

Полк с глухим дребезгом нестройно вскинул ружья. Где-то залязгали штыки.

Тогда Шульгович, преувеличенно растягивая слова, торжественно, сурово, радостно и громко, во всю мочь своих огромных легких, скомандовал:

— К це-ре-мо-ни-аль-но-му маршу-у!..

Теперь уже все шестнадцать ротных командиров невпопад и фальшиво, разными голосами запели:

— К церемониальному маршу!

И где-то, в хвосте колонны, один отставший ротный крикнул, уже после других, заплетающимся и стыдливым голосом, не договаривая команды:

— К цериальному… — и тотчас же робко оборвался.

— Попо-лу-ротна-а! — раскатился Шульгович.

— Пополуротно! — тотчас же подхватили ротные.

— На двух-взво-одную дистанцию! — заливался Шульгович.

— На двухвзводную дистанцию!..

— Ра-внение на-права-а!

— Равнение направо! — повторило многоголосое пестрое эхо.

Шульгович выждал две-три секунды и отрывисто бросил:

— Первая полурота — шагом!

Глухо доносясь сквозь плотные ряды, низко стелясь по самой земле, раздалась впереди густая команда Осадчего:

— Пер-рвая полурота. Равнение направо. Шагом… арш!

Дружно загрохотали впереди полковые барабанщики.

Видно было сзади, как от наклонного леса штыков отделилась правильная длинная линия и равномерно закачалась в воздухе.

— Вторая полурота, прямо! — услыхал Ромашов высокий бабий голос Арчаковского.

И другая линия штыков, уходя, заколебалась. Звук барабанов становился все тупее и тише, точно он опускался вниз, пуд землю, и вдруг на него налетела, смяв и повалив его, веселая, сияющая, резко красивая волна оркестра. Это подхватила темп полковая музыка, и весь полк сразу ожил и подтянулся: головы поднялись выше, выпрямились стройнее тела, прояснились серые, усталые лица.

Одна за другой отходили полуроты, и с каждым разом все ярче, возбужденней и радостней становились звуки полкового марша. Вот отхлынула последняя полурота первого батальона. Подполковник Лех двинулся вперед на костлявой вороной лошади, в сопровождении Олизара. У обоих шашки «подвысь» с кистью руки на уровне лица. Слышна спокойная и, как всегда, небрежная команда Стельковского. Высоко над штыками плавно заходило древко знамени. Капитан Слива вышел вперед — сгорбленный, обрюзгший, оглядывая строй водянистыми выпуклыми глазами, длиннорукий, похожий на большую старую скучную обезьяну.

— П-первая полурота… п-прямо!

Легким и лихим шагом выходит Ромашов перед серединой своей полуроты. Чтототото блаженное, красивое и гордое растет в его душе. Быстро скользит он глазами по лицам первой шеренги. «Старый рубака обвел своих ветеранов соколиным взором», — мелькает у него в голове пышная фраза в то время, когда он сам тянет лихо нараспев:

— Втор-ая полуро-ота-а…

«Раз, два!» — считает Ромашов мысленно и держит такт одними носками сапог. «Нужно под левую ногу. Левой, правой». И с счастливым лицом, забросив назад голову, он выкрикивает высоким, звенящим на все поле тенором:

— Пряма!

И, уже повернувшись, точно на пружине, на одной ноге, он, не оборачиваясь назад, добавляет певуче и двумя тонами ниже:

— Ра-авне-ние направа-а!

Красота момента опьяняет его. На секунду ему кажется, что это музыка обдает его волнами такого жгучего, ослепительного света и что медные, ликующие крики падают сверху, с неба, из солнца. Как и давеча, при встрече, — сладкий, дрожащий холод бежит по его телу и делает кожу жесткой и приподымает и шевелит волосы на голове.

Дружно, в такт музыке, закричала пятая рота, отвечая на похвалу генерала. Освобожденные от живой преграды из человеческих тел, точно радуясь свободе, громче и веселее побежали навстречу Ромашову яркие звуки марша. Теперь подпоручик совсем отчетливо видит впереди и справа от себя грузную фигуру генерала на серой лошади, неподвижную свиту сзади него, а еще дальше разноцветную группу дамских платьев, которые в ослепительном полуденном свете кажутся какими-то сказочными, горящими цветами. А слева блестят золотые поющие трубы оркестра, и Ромашов чувствует, что между генералом и музыкой протянулась невидимая волшебная нить, которую и радостно и жутко перейти.

Но первая полурота уже вступила в эту черту.

— Хорошо, ребята! — слышится довольный голос корпусного командира. — А-а-а-а! — подхватывают солдаты высокими, счастливыми голосами. Еще громче вырываются вперед звуки музыки. «О милый! — с умилением думает Ромашов о генерале. — Умница!»

Теперь Ромашов один. Плавно-и упруго, едва касаясь ногами земли, приближается он к заветной черте. Голова его дерзко закинута назад и с гордым вызовом обращена влево. Во всем теле у него такое ощущение легкости и свободы, точно он получил неожиданную способность летать. И, сознавая себя предметом общего восхищения, прекрасным центром всего мира, он говорит сам себе в каком-то радужном, восторженном сне:

«Посмотрите, посмотрите, — это идет Ромашов». «Глаза дам сверкали восторгом». Раз, два, левой!.. «Впереди полуроты грациозной походкой шел красивый молодой подпоручик». Левой, правой!.. «Полковник Шульгович, ваш Ромашов одна прелесть, — сказал корпусный командир, — я бы хотел иметь его своим адъютантом». Левой…

Еще секунда, еще мгновение — и Ромашов пересекает очарованную нить. Музыка звучит безумным, героическим, огненным торжеством. «Сейчас похвалит», — думает Ромашов, и душа его полна праздничным сиянием. Слышен голос корпусного командира, вот голос Шульговича, еще чьи-то голоса… «Конечно, генерал похвалил, но отчего же солдаты не отвечали? Кто-то кричит сзади, из рядов… Что случилось?»

Ромашов обернулся назад и побледнел. Вся его полурота вместо двух прямых стройных линий представляла из себя безобразную, изломанную по всем направлениям, стеснившуюся, как овечье стадо, толпу. Это случилось оттого, что подпоручик, упоенный своим восторгом и своими пылкими мечтами, сам не заметил того, как шаг за шагом передвигался от середины вправо, наседая в то же время на полуроту, и, наконец, очутился на ее правом фланге, смяв и расстроив общее движение. Все это Ромашов увидел и понял в одно короткое, как мысль, мгновение, так же как увидел и рядового Хлебникова, который ковылял один, шагах в двадцати за строем, как раз на глазах генерала. Он упал на ходу и теперь, весь в пыли, догонял свою полуроту, низко согнувшись под тяжестью амуниции, точно бежа на четвереньках, держа в одной руке ружье за середину, а другой рукой беспомощно вытирая нос.

Ромашову вдруг показалось, что сияющий майский день сразу потемнел, что на его плечи легла мертвая, чужая тяжесть, похожая на песчаную гору, и что музыка заиграла скучно и глухо. И сам он почувствовал себя маленьким, слабым, некрасивым, с вялыми движениями, с грузными, неловкими, заплетающимися ногами.

К нему уже летел карьером полковой адъютант. Лицо Федоровского было красно и перекошено злостью, нижняя челюсть прыгала. Он задыхался от гнева и от быстрой скачки. Еще издали он начал яростно кричать, захлебываясь и давясь словами:

— Подпоручик… Ромашов… Командир полка объявляет вам… строжайший выговор… На семь дней… на гауптвахту… в штаб дивизии… Безобразие, скандал… Весь полк о…… и!.. Мальчишка!

Ромашов не отвечал ему, даже не повернул к нему головы. Что ж, конечно, он имеет право браниться! Вот и солдаты слышали, как адъютант кричал на него. «Ну, что ж, и пускай слышали, так мне и надо, и пускай, — с острой ненавистью к самому себе подумал Ромашов. — Все теперь пропало для меня. Я застрелюсь. Я опозорен навеки. Все, все пропало для меня. Я смешной, я маленький, у меня бледное, некрасивое лицо, какое-то нелепое лицо, противнее всех лиц на свете. Все пропало! Солдаты идут сзади меня, смотрят мне в спину, и смеются, и подталкивают друг друга локтями. А может быть, жалеют меня? Нет, я непременно, непременно застрелюсь!»

Полуроты, отходя довольно далеко от корпусного командира, одна за другой заворачивали левым плечом и возвращались на прежнее место, откуда они начали движение. Тут их перестраивали в развернутый ротный строй. Пока подходили задние части, людям позволили стоять вольно, а офицеры сошли с своих мест, чтобы размяться и покурить из рукава. Один Ромашов оставался в середине фронта, на правом фланге своей полуроты. Концом обнаженной шашки он сосредоточенно ковырял землю у своих ног и хотя не подымал опущенной головы, но чувствовал, что со всех сторон на него устремлены любопытные, насмешливые и презрительные взгляды.

Капитан Слива прошел мимо Ромашова и, не останавливаясь, не глядя на него, точно разговаривая сам с собою, проворчал хрипло, со сдержанной злобой, сквозь сжатые зубы:

— С-сегодня же из-звольте подать рапорт о п-переводе в другую роту.

Потом подошел Веткин. В его светлых, добрых глазах и в углах опустившихся губ Ромашов прочел то брезгливое и жалостное выражение, с каким люди смотрят на раздавленную поездом собаку. И в то же время сам Ромашов с отвращением почувствовал у себя на лице какую-то бессмысленную, тусклую улыбку.

— Пойдем покурим, Юрий Алексеевич, — сказал Веткин.

И, чмокнув языком и качнув головой, он прибавил с досадой:

— Эх, голубчик!..

У Ромашова затрясся подбородок, а в гортани стало горько и тесно. Едва удерживаясь от рыданий, он ответил обрывающимся, задушенным голосом обиженного ребенка:

— Нет уж… что уж тут… я не хочу…

Веткин отошел в сторону. «Вот возьму сейчас подойду и ударю Сливу по щеке, — мелькнула у Ромашова ни с того ни с сего отчаянная мысль. — Или подойду к корпусному и скажу: „Стыдно тебе, старому человеку, играть в солдатики и мучить людей. Отпусти их отдохнуть. Из-за тебя две недели били солдат“».

Но вдруг ему вспомнились его недавние горделивые мечты о стройном красавце подпоручике, о дамском восторге, об удовольствии в глазах боевого генерала, — и ему стало так стыдно, что он мгновенно покраснел не только лицом, но даже грудью и спиной.

«Ты смешной, презренный, гадкий человек! — крикнул он самому себе мысленно. — Знайте же все, что я сегодня застрелюсь!»

Смотр кончался. Роты еще несколько раз продефилировали перед корпусным командиром: сначала поротно шагом, потом бегом, затем сомкнутой колонной с ружьями наперевес. Генерал как будто смягчился немного и несколько раз похвалил солдат. Было уже около четырех часов. Наконец полк остановили и приказали людям стоять вольно. Штаб-горнист затрубил «вызов начальников».

— Господа офицеры, к корпусному командиру! — пронеслось по рядам.

Офицеры вышли из строя и сплошным кольцом окружили корпусного командира. Он сидел на лошади, сгорбившись, опустившись, по-видимому сильно утомленный, но его умные, прищуренные, опухшие глаза живо и насмешливо глядели сквозь золотые очки.

— Буду краток, — заговорил он отрывисто и веско. — Полк никуда не годен. Солдат не браню, обвиняю начальников. Кучер плох — лошади не везут. Не вижу в вас сердца, разумного понимания заботы о людях. Помните твердо: «Блажен, иже душу свою положит за други своя». А у вас одна мысль — лишь бы угодить на смотру начальству. Людей завертели, как извозчичьих лошадей. Офицеры имеют запущенный и дикий вид, какие-то дьячки в мундирах. Впрочем, об этом прочтете в моем приказе. Один прапорщик, кажется, шестой или седьмой роты, потерял равнение и сделал из роты кашу. Стыдно! Не требую шагистики в три темпа, но глазомер и спокойствие прежде всего.

«Обо мне!» — с ужасом подумал Ромашов, и ему показалось, что все стоящие здесь одновременно обернулись на него. Но никто не пошевелился. Все стояли молчаливые, понурые и неподвижные, не сводя глаз с лица генерала.

— Командиру пятой роты мое горячее спасибо! — продолжал корпусный командир. — Где вы, капитан? А, вот! — генерал несколько театрально, двумя руками поднял над головой фуражку, обнажил лысый мощный череп, сходящийся шишкой над лбом, и низко поклонился Стельковскому. — Еще раз благодарю вас и с удовольствием жму вашу руку. Если приведет бог драться моему корпусу под моим начальством, — глаза генерала заморгали и засветились слезами, — то помните, капитан, первое опасное дело поручу вам. А теперь, господа, мое почтение-с. Вы свободны, рад буду видеть вас в другой раз, но в другом порядке. Позвольте-ка дорогу коню.

— Ваше превосходительство, — выступил вперед Шульгович, — осмелюсь предложить от имени общества господ офицеров отобедать в нашем собрании. Мы будем…

— Нет, уж зачем! — сухо оборвал его генерал. — Премного благодарен, я приглашен сегодня к графу Ледоховскому.

Сквозь широкую дорогу, очищенную офицерами, он галопом поскакал к полку. Люди сами, без приказания, встрепенулись, вытянулись и затихли.

— Спасибо, N-цы! — твердо и приветливо крикнул генерал. — Даю вам два дня отдыха. А теперь… — он весело возвысил голос, — по палаткам бегом марш! Ура!

Казалось, он этим коротким криком сразу толкнул весь полк. С оглушительным радостным ревом кинулись полторы тысячи людей в разные стороны, и земля затряслась и загудела под их ногами.

Ромашов отделился от офицеров, толпою возвращавшихся в город, и пошел дальней дорогой, через лагерь. Он чувствовал себя в эти минуты каким-то жалким отщепенцем, выброшенным из полковой семьи, каким-то неприятным, чуждым для всех человеком, и даже не взрослым человеком, а противным, порочным и уродливым мальчишкой.

Когда он проходил сзади палаток своей роты, по офицерской линии, то чей-то сдавленный, но гневный крик привлек его внимание. Он остановился на минутку и в просвете между палатками увидел своего фельдфебеля Рынду, маленького, краснолицего, апоплексического крепыша, который, неистово и скверно ругаясь, бил кулаками по лицу Хлебникова. У Хлебникова было темное, глупое, растерянное лицо, а в бессмысленных глазах светился животный ужас. Голова его жалко моталась из одной стороны в другую, и слышно было, как при каждом ударе громко клацали друг о друга его челюсти.

Ромашов торопливо, почти бегом, прошел мимо. У него не было сил заступиться за Хлебникова. И в то же время он болезненно почувствовал, что его собственная судьба и судьба этого несчастного, забитого, замученного солдатика как-то странно, родственно-близко и противно сплелись за нынешний день. Точно они были двое калек, страдающих одной и той же болезнью и возбуждающих в людях одну и ту же брезгливость. И хотя это сознание одинаковости положений и внушало Ромашову колючий стыд и отвращение, по в нем было также чтототото необычайное, глубокое, истинно человеческое.

## XVI

Из лагеря в город вела только одна дорога — через полотно железной дороги, которое в этом месте проходило в крутой и глубокой выемке. Ромашов по узкой, плотно утоптанной, почти отвесной тропинке быстро сбежал вниз и стал с трудом взбираться по другому откосу. Еще с середины подъема он заметил, что кто-то стоит наверху в кителе и в шинеле внакидку. Остановившись на несколько секунд и прищурившись, он узнал Николаева.

«Сейчас будет самое неприятное!» — подумал Ромашов. Сердце у него тоскливо заныло от тревожного предчувствия. Но он все-таки покорно подымался кверху.

Офицеры не видались около пяти дней, но теперь они почему-то не поздоровались при встрече, и почему-то Ромашов не нашел в этом ничего необыкновенного, точно иначе и не могло случиться в этот тяжелый, несчастный день. Ни один из них даже не прикоснулся рукой к фуражке.

— Я нарочно ждал вас здесь, Юрий Алексеич, — сказал Николаев, глядя куда-то вдаль, на лагерь, через плечо Ромашова.

— К вашим услугам, Владимир Ефимыч, — ответил Ромашов с фальшивой развязностью, но дрогнувшим голосом. Он нагнулся, сорвал прошлогоднюю сухую коричневую былинку и стал рассеянно ее жевать. В то же время он пристально глядел, как в пуговицах на пальто Николаева отражалась его собственная фигура, с узкой маленькой головкой и крошечными ножками, но безобразно раздутая в боках.

— Я вас не задержу, мне только два слова, — сказал Николаев.

Он произносил слова особенно мягко, с усиленной вежливостью вспыльчивого и рассерженного человека, решившегося быть сдержанным. Но так как разговаривать, избегая друг друга глазами, становилось с каждой секундой все более неловко, то Ромашов предложил вопросительно:

— Так пойдемте?

Извилистая стежка, протоптанная пешеходами, пересекала большое свекловичное поле. Вдали виднелись белые домики и красные черепичные крыши города. Офицеры пошли рядом, сторонясь друг от друга и ступая по мясистой, густой, хрустевшей под ногами зелени. Некоторое время оба молчали. Наконец Николаев, переведя широко и громко, с видимым трудом, дыхание, заговорил первый:

— Я прежде всего должен поставить вопрос: относитесь ли вы с должным уважением к моей жене… к Александре Петровне?

— Я не понимаю, Владимир Ефимович… — возразил Ромашов. — Я, с своей стороны, тоже должен спросить вас…

— Позвольте! — вдруг загорячился Николаев. — Будем спрашивать поочередно, сначала я, а потом вы. А иначе мы не столкуемся. Будемте говорить прямо и откровенно. Ответьте мне прежде всего: интересует вас хоть сколько-нибудь то, что о ней говорят и сплетничают? Ну, словом… черт!.. ее репутация? Нет, нет, подождите, не перебивайте меня… Ведь вы, надеюсь, не будете отрицать того, что вы от нее и от меня не видели ничего, кроме хорошего, и что вы были в нашем доме приняты, как близкий, свой человек, почти как родной.

Ромашов оступился в рыхлую землю, неуклюже споткнулся и пробормотал стыдливо:

— Поверьте, я всегда буду благодарен вам и Александре Петровне…

— Ах, нет, вовсе не в этом дело, вовсе не в этом. Я не ищу вашей благодарности, — рассердился Николаев. — Я хочу сказать только то, что моей жены коснулась грязная, лживая сплетня, которая… ну, то есть в которую… — Николаев часто задышал и вытер лицо платком. — Ну, словом, здесь замешаны и вы. Мы оба — я и она — мы получаем чуть ли не каждый день какие-то подлые, хамские анонимные письма. Не стану вам их показывать… мне омерзительно это. И вот в этих письмах говорится… — Николаев замялся на секунду. — Ну, да черт!.. говорится о том, что вы — любовник Александры Петровны и что… ух, какая подлость!.. Ну, и так далее… что у вас ежедневно происходят какие-то тайные свидания и будто бы весь полк об этом знает. Мерзость!

Он злобно заскрипел зубами и сплюнул.

— Я знаю, кто писал, — тихо сказал Ромашов, отворачиваясь в сторону.

— Знаете?

Николаев остановился и грубо схватил Ромашова за рукав. Видно было, что внезапный порыв гнева сразу разбил его искусственную сдержанность. Его воловьи глаза расширились, лицо налилось кровью, в углах задрожавших губ выступила густая слюна. Он яростно закричал, весь наклоняясь вперед и приближая свое лицо в упор к лицу Ромашова:

— Так как же вы смеете молчать, если знаете! В вашем положении долг каждого мало-мальски порядочного человека — заткнуть рот всякой сволочи. Слышите вы… армейский донжуан! Если вы честный человек, а не какая-нибудь…

Ромашов, бледнея, посмотрел с ненавистью в глаза Николаеву. Ноги и руки у него вдруг страшно отяжелели, голова сделалась легкой и точно пустой, а сердце упало куда-то глубоко вниз и билось там огромными, болезненными толчками, сотрясая все тело.

— Я попрошу вас не кричать на меня, — глухо и протяжно произнес Ромашов. — Говорите приличнее, я не позволю вам кричать.

— Я вовсе на вас и не кричу, — все еще грубо, но понижая тон, возразил Николаев. — Я вас только убеждаю, хотя имею право требовать. Наши прежние отношения дают мне это право. Если вы хоть сколько-нибудь дорожите чистым, незапятнанным именем Александры Петровны, то вы должны прекратить эту травлю.

— Хорошо, я сделаю все, что могу, — сухо ответил Ромашов.

Он повернулся и пошел вперед, посередине тропинки. Николаев тотчас же догнал его.

— И потом… только вы, пожалуйста, не сердитесь… — заговорил Николаев смягченно, с оттенком замешательства. — Уж раз мы начали говорить, то лучше говорить все до конца… Не правда ли?

— Да? — полувопросительно произнес Ромашов.

— Вы сами видели, с каким чувством симпатии мы к вам относились, то есть я и Александра Петровна. И если я теперь вынужден… Ах, да вы сами знаете, что в этом паршивом городишке нет ничего страшнее сплетни!

— Хорошо, — грустно ответил Ромашов. — Я перестану у вас бывать. Ведь вы об этом хотели просить меня? Ну, хорошо. Впрочем, я и сам решил прекратить мои посещения. Несколько дней тому назад я зашел всего на пять минут, возвратить Александре Петровне ее книги, и, смею уверить вас, это в последний раз.

— Да… так вот… — сказал неопределенно Николаев и смущенно замолчал.

Офицеры в эту минуту свернули с тропинки на шоссе. До города оставалось еще шагов триста, и так как говорить было больше не о чем, то оба шли рядом, молча и не глядя друг на друга. Ни один не решался — ни остановиться, ни повернуть назад. Положение становилось с каждой минутой все более фальшивым и натянутым.

Наконец около первых домов города им попался навстречу извозчик. Николаев окликнул его.

— Да… так вот… — опять нелепо промолвил он, обращаясь к Ромашову. — Итак, до свидания, Юрий Алексеевич.

Они не подали друг другу рук, а только притронулись к козырькам. Но когда Ромашов глядел на удаляющийся в пыли белый крепкий затылок Николаева, он вдруг почувствовал себя таким оставленным всем миром и таким внезапно одиноким, как будто от его жизни только что отрезали чтототото самое большое, самое главное.

Он медленно пошел домой. Гайнан встретил его на дворе, еще издали дружелюбно и весело скаля зубы. Снимая с подпоручика пальто, он все время улыбался от удовольствия и, по своему обыкновению, приплясывал на месте.

— Твоя не обедал? — спрашивал он с участливой фамильярностью. — Небось голодный? Сейчас побежу в собранию, принесу тебе обед.

— Убирайся к черту! — визгливо закричал на него Ромашов. — Убирайся, убирайся и не смей заходить ко мне в комнату. И кто бы ни спрашивал — меня нет дома. Хоть бы сам государь император пришел.

Он лег на постель и зарылся головой в подушку, вцепившись в нее зубами. У него горели глаза, чтототото колючее, постороннее распирало и в то же время сжимало горло, и хотелось плакать. Он жадно искал этих горячих и сладостных слез, этих долгих, горьких, облегчающих рыданий. И он снова и снова нарочно вызывал в воображении прошедший день, сгущая все нынешние обидные и позорные происшествия, представляя себе самого себя, точно со стороны, оскорбленным, несчастным, слабым и заброшенным и жалостно умиляясь над собой. Но слезы не приходили.

Потом случилось чтототото странное. Ромашову показалось, что он вовсе не спал, даже не задремал ни на секунду, а просто в течение одного только момента лежал без мыслей, закрыв глаза. И вдруг он неожиданно застал себя бодрствующим, с прежней тоской на душе. Но в комнате уже было темно. Оказалось, что в этом непонятном состоянии умственного оцепенения прошло более пяти часов.

Ему захотелось есть. Он встал, прицепил шашку, накинул шинель на плечи и пошел в собрание. Это было недалеко, всего шагов двести, и туда Ромашов всегда ходил не с улицы, а через черный ход, какими-то пустырями, огородами и перелазами.

В столовой, в бильярдной и на кухне светло горели лампы, и оттого грязный, загроможденный двор офицерского собрания казался черным, точно залитым чернилами. Окна были всюду раскрыты настежь. Слышался говор, смех, пение, резкие удары бильярдных шаров.

Ромашов уже взошел на заднее крыльцо, но вдруг остановился, уловив в столовой раздраженный и насмешливый голос капитана Сливы. Окно было в двух шагах, и, осторожно заглянув в него, Ромашов увидел сутуловатую спину своего ротного командира.

— В-вся рота идет, к-как один ч-человек — ать! ать! ать! — говорил Слива, плавно подымая и опуская протянутую ладонь, — а *оно одно* , точно на смех — о! о! — як тот козел. — Он суетливо и безобразно ткнул несколько раз указательным пальцем вверх. — Я ему п-прямо сказал б-без церемонии: уходите-ка, п-почтеннейший, в друг-гую роту. А лучше бы вам и вовсе из п-полка уйти. Какой из вас к черту офицер? Так, м-междометие какое-то…

Ромашов зажмурил глаза и съежился. Ему казалось, что если он сейчас пошевелится, то все сидящие в столовой заметят это и высунутся из окон. Так простоял он минуту или две. Потом, стараясь дышать как можно тише, сгорбившись и спрятав голову в плечи, он на цыпочках двинулся вдоль стены, прошел, все ускоряя шаг, до ворот и, быстро перебежав освещенную луной улицу, скрылся в густой тени противоположного забора.

Ромашов долго кружил в этот вечер по городу, держась все время теневых сторон, но почти не сознавая, по каким улицам он идет. Раз он остановился против дома Николаевых, который ярко белел в лунном свете, холодно, глянцевито и странно сияя своей зеленой металлической крышей. Улица была мертвенно тиха, безлюдна и казалась незнакомой. Прямые четкие тени от домов и заборов резко делили мостовую пополам — одна половина была совсем черная, а другая масляно блестела гладким, круглым булыжником.

За темно-красными плотными занавесками большим теплым пятном просвечивал свет лампы. «Милая, неужели ты не чувствуешь, как мне грустно, как я страдаю, как я люблю тебя!» — прошептал Ромашов, делая плачущее лицо и крепко прижимая обе руки к груди.

Ему вдруг пришло в голову заставить Шурочку, чтобы она услышала и поняла его на расстоянии, сквозь стены комнаты. Тогда, сжав кулаки так сильно, что под ногтями сделалось больно, сцепив судорожно челюсти, с ощущением холодных мурашек по всему телу, он стал твердить в уме, страстно напрягая всю свою волю:

«Посмотри в окно… Подойди к занавеске. Встань с дивана и подойди к занавеске. Выгляни, выгляни, выгляни. Слышишь, я тебе приказываю, сейчас же подойди к окну».

Занавески оставались неподвижными. «Ты не слышишь меня! — с горьким упреком прошептал Ромашов. — Ты сидишь теперь с ним рядом, около лампы, спокойная, равнодушная, красивая. Ах, боже мой, боже, как я несчастлив!»

Он вздохнул и утомленной походкой, низко опустив голову, побрел дальше.

Он проходил и мимо квартиры Назанского, но там было темно. Ромашову, правда, почудилось, что кто-то белый мелькал по неосвещенной комнате мимо окон, но ему стало почему-то страшно, и он не решился окликнуть Назанского.

Спустя несколько дней Ромашов вспоминал, точно далекое, никогда не забываемое сновидение, эту фантастическую, почти бредовую прогулку. Он сам не мог бы сказать, каким образом очутился он около еврейского кладбища. Оно находилось за чертой города и взбиралось на гору, обнесенное низкой белой стеной, тихое и таинственное. Из светлой спящей травы печально подымались кверху голые, однообразные, холодные камни, бросавшие от себя одинаковые тонкие тени. А над кладбищем безмолвно и строго царствовала торжественная простота уединения.

Потом он видел себя на другом конце города. Может быть, это и в самом деле было во сне? Он стоял на середине длинной укатанной, блестящей плотины, широко пересекающей Буг. Сонная вода густо и лениво колыхалась под его ногами, мелодично хлюпая о землю, а месяц отражался в ее зыбкой поверхности дрожащим столбом, и казалось, что это миллионы серебряных рыбок плещутся на воде, уходя узкой дорожкой к дальнему берегу, темному, молчаливому и пустынному. И еще запомнил Ромашов, что повсюду — и на улицах и за городом — шел за ним сладкий, нежно-вкрадчивый аромат цветущей белой акации.

Странные мысли приходили ему в голову в эту ночь — одинокие мысли, то печальные, то жуткие, то мелочно, по-детски, смешные. Чаще же всего ему, точно неопытному игроку, проигравшему в один вечер все состояние, вдруг представлялось с соблазнительной ясностью, что вовсе ничего не было неприятного, что красивый подпоручик Ромашов отлично прошелся в церемониальном марше перед генералом, заслужил общие похвалы и что он сам теперь сидит вместе с товарищами в светлой столовой офицерского собрания и хохочет и пьет красное вино. Но каждый раз эти мечты обрывались воспоминаниями о брани Федоровского, о язвительных словах ротного командира, о разговоре с Николаевым, и Ромашов снова чувствовал себя непоправимо опозоренным и несчастным.

Тайный, внутренний инстинкт привел его на то место, где он разошелся сегодня с Николаевым. Ромашов в это время думал о самоубийстве, но думал без решимости и без страха, с каким-то скрытым, приятно-самолюбивым чувством. Обычная, неугомонная фантазия растворила весь ужас этой мысли, украсив и расцветив ее яркими картинами.

«Вот Гайнан выскочил из комнаты Ромашова. Лицо искажено испугом. Бледный, трясущийся, вбегает он в офицерскую столовую, которая полна народом. Все невольно подымаются с мест при его появлении. „Ваше высокоблагородие… подпоручик… застрелился!..“ — с трудом произносит Гайнан. Общее смятение. Лица бледнеют. В глазах отражается ужас. „Кто застрелился? Где? Какой подпоручик?“ — „Господа, да ведь это денщик Ромашова! — узнает кто-то Гайнана. — Это его черемис“. Все бегут на квартиру, некоторые без шапок. Ромашов лежит на кровати. Лужа крови на полу, и в ней валяется револьвер Смита и Вессона, казенного образца… Сквозь толпу офицеров, наполнявших маленькую комнату, с трудом пробирается полковой доктор Знойко. „В висок! — произносит он тихо среди общего молчания. — Все кончено“. Кто-то замечает вполголоса: „Господа, снимите же шапки!“ Многие крестятся. Веткин находит на столе записку, твердо написанную карандашом, и читает ее вслух: „Прощаю всех, умираю по доброй воле, жизнь так тяжела и печальна! Сообщите поосторожнее матери о моей смерти. Георгий Ромашов“. Все переглядываются, и все читают в глазах друг у друга одну и ту же беспокойную, невысказанную мысль: „Это *мы* его убийцы!“

Мерно покачивается гроб под золотым парчовым покровом на руках восьми товарищей. Все офицеры идут следом. Позади их — шестая рота. Капитан Слива сурово хмурится. Доброе лицо Веткина распухло от слез, но теперь, на улице, он сдерживает себя. Лбов плачет навзрыд, не скрывая и не стыдясь своего горя, — милый, добрый мальчик! Глубокими, скорбными рыданиями несутся в весеннем воздухе звуки похоронного марша. Тут же и все полковые дамы и Шурочка. „Я его целовала! — думает она с отчаянием. — Я его любила! Я могла бы его удержать, спасти!“ — „Слишком поздно!“ — думает в ответ ей с горькой улыбкой Ромашов.

Тихо разговаривают между собой офицеры, идущие за гробом: „Эх, как жаль беднягу! Ведь какой славный был товарищ, какой прекрасный, способный офицер!.. Да… не понимали мы его!“ Сильнее рыдает похоронный марш: это — музыка Бетховена „На смерть героя“. А Ромашов лежит в гробу, неподвижный, холодный, с вечной улыбкой на губах. На груди у него скромный букет фиалок, — никто не знает, чья рука положила эти цветы. Он всех простил: и Шурочку, и Сливу, и Федоровского, и корпусного командира. Пусть же не плачут о нем. Он был слишком чист и прекрасен для этой жизни! Ему будет лучше *там* !»

Слезы выступили на глаза, но Ромашов не вытирал их. Было так отрадно воображать себя оплакиваемым, несправедливо обиженным!

Он шел теперь вдоль свекловичного поля. Низкая толстая ботва пестрела путаными белыми и черными пятнами под ногами. Простор поля, освещенного луной, точно давил Ромашова. Подпоручик взобрался на небольшой земляной валик и остановился над железнодорожной выемкой.

Эта сторона была вся в черной тени, а на другую падал ярко-бледный свет, и казалось, на ней можно было рассмотреть каждую травку. Выемка уходила вниз, как темная пропасть; на дне ее слабо блестели отполированные рельсы. Далеко за выемкой белели среди поля правильные ряды остроконечных палаток.

Немного ниже гребня выемки, вдоль полотна, шел неширокий уступ. Ромашов спустился к нему и сел на траву. От голода и усталости он чувствовал тошноту вместе с ощущением дрожи и слабости в ногах. Большое пустынное поле, внизу выемка — наполовину в тени, наполовину в свете, смутно-прозрачный воздух, росистая трава, — все было погружено в чуткую, крадущуюся тишину, от которой гулко шумело в ушах. Лишь изредка на станции вскрикивали маневрирующие паровозы, и в молчании этой странной ночи их отрывистые свистки принимали живое, тревожное и угрожающее выражение.

Ромашов лег на спину. Белые, легкие облака стояли неподвижно, и над ними быстро катился круглый месяц. Пусто, громадно и холодно было наверху, и казалось, что все пространство от земли до неба наполнено вечным ужасом и вечной тоской. «Там — бог!» — подумал Ромашов, и вдруг, с наивным порывом скорби, обиды и жалости к самому себе, он заговорил страстным и горьким шепотом:

— Бог! Зачем ты отвернулся от меня? Я — маленький, я — слабый, я — песчинка, что я сделал тебе дурного, бог? Ты ведь все можешь, ты добрый, ты все видишь, — зачем же ты несправедлив ко мне, бог?

Но ему стало страшно, и он зашептал поспешно и горячо:

— Нет, нет, добрый, милый, прости меня, прости меня! Я не стану больше.

— И он прибавил с кроткой, обезоруживающей покорностью: — Делай со мной все, что тебе угодно. Я всему повинуюсь с благодарностью.

Так он говорил, и в то же время у него в самых тайниках души шевелилась лукаво-невинная мысль, что его терпеливая покорность растрогает и смягчит всевидящего бога, и тогда вдруг случится чудо, от которого все сегодняшнее — тягостное и неприятное — окажется лишь дурным сном.

«Где ты ту-ут?» — сердито и торопливо закричал паровоз.

А другой подхватил низким тоном, протяжно и с угрозой:

«Я — ва-ас!»

Чтототото зашуршало и мелькнуло на той стороне выемки, на самом верху освещенного откоса. Ромашов слегка приподнял голову, чтобы лучше видеть. Чтототото серое, бесформенное, мало похожее на человека, спускалось сверху вниз, едва выделяясь от травы в призрачно-мутном свете месяца. Только по движению тени да по легкому шороху осыпавшейся земли можно было уследить за ним.

Вот оно перешло через рельсы. «Кажется — солдат? — мелькнула у Ромашова беспокойная догадка. — Во всяком случае, это человек. Но так страшно идти может только лунатик или пьяный. Кто это?»

Серый человек пересек рельсы и вошел в тень. Теперь стало совсем ясно видно, что это солдат. Он медленно и неуклюже взбирался наверх, скрывшись на некоторое время из поля зрения Ромашова. Но прошло две-три минуты, и снизу начала медленно подыматься круглая стриженая голова без шапки.

Мутный свет прямо падал на лицо этого человека, и Ромашов узнал левофлангового солдата своей полуроты — Хлебникова. Он шел с обнаженной головой, держа шапку в руке, со взглядом, безжизненно устремленным вперед. Казалось, он двигался под влиянием какой-то чужой, внутренней, таинственной силы. Он прошел так близко около офицера, что почти коснулся его полой своей шинели. В зрачках его глаз яркими, острыми точками отражался лунный свет.

— Хлебников! Ты? — окликнул его Ромашов.

— Ах! — вскрикнул солдат и вдруг, остановившись, весь затрепетал на одном месте от испуга.

Ромашов быстро поднялся. Он увидел перед собой мертвое, истерзанное лицо, с разбитыми, опухшими, окровавленными губами, с заплывшим от синяка глазом. При ночном неверном свете следы побоев имели зловещий, преувеличенный вид. И, глядя на Хлебникова, Ромашов подумал: «Вот этот самый человек вместе со мной принес сегодня неудачу всему полку. Мы одинаково несчастны».

— Куда ты, голубчик? Что с тобой? — спросил ласково Ромашов и, сам не зная зачем, положил обе руки на плечи солдату.

Хлебников поглядел на него растерянным, диким взором, но тотчас же отвернулся. Губы его чмокнули, медленно раскрылись, и из них вырвалось короткое, бессмысленное хрипение. Тупое, раздражающее ощущение, похожее на то, которое предшествует обмороку, похожее на приторную щекотку, тягуче заныло в груди и в животе у Ромашова.

— Тебя били? Да? Ну, скажи же. Да? Сядь здесь, сядь со мною.

Он потянул Хлебникова за рукав вниз. Солдат, точно складной манекен, как-то нелепо-легко и послушно упал на мокрую траву, рядом с подпоручиком.

— Куда ты шел? — спросил Ромашов.

Хлебников молчал, сидя в неловкой позе с неестественно выпрямленными ногами. Ромашов видел, как его голова постепенно, едва заметными толчками опускалась на грудь. Опять послышался подпоручику короткий хриплый звук, и в душе у него шевельнулась жуткая жалость.

— Ты хотел убежать? Надень же шапку. Послушай, Хлебников, я теперь тебе не начальник, я сам — несчастный, одинокий, убитый человек. Тебе тяжело? Больно? Поговори же со мной откровенно. Может быть, ты хотел убить себя? — спрашивал Ромашов бессвязным шепотом.

Чтототото щелкнуло и забурчало в горле у Хлебникова, но он продолжал молчать. В то же время Ромашов заметил, что солдат дрожит частой, мелкой дрожью: дрожала его голова, дрожали с тихим стуком челюсти. На секунду офицеру сделалось страшно. Эта бессонная лихорадочная ночь, чувство одиночества, ровный, матовый, неживой свет луны, чернеющая глубина выемки под ногами, и рядом с ним молчаливый, обезумевший от побоев солдат — все, все представилось ему каким-то нелепым, мучительным сновидением, вроде тех снов, которые, должно быть, будут сниться людям в самые последние дни мира. Но вдруг прилив теплого, самозабвенного, бесконечного сострадания охватил его душу. И, чувствуя свое личное горе маленьким и пустячным, чувствуя себя взрослым и умным в сравнении с этим забитым, затравленным человеком, он нежно и крепко обнял Хлебникова за шею, притянул к себе и заговорил горячо, со страстной убедительностью:

— Хлебников, тебе плохо? И мне нехорошо, голубчик, мне тоже нехорошо, поверь мне. Я ничего не понимаю из того, что делается на свете. Все — какая-то дикая, бессмысленная, жестокая чепуха! Но надо терпеть, мой милый, надо терпеть… Это надо.

Низко склоненная голова Хлебникова вдруг упала на колени Ромашову. И солдат, цепко обвив руками ноги офицера, прижавшись к ним лицом, затрясся всем телом, задыхаясь и корчась от подавляемых рыданий.

— Не могу больше… — лепетал Хлебников бессвязно, — не могу я, барин, больше… Ох, господи… Бьют, смеются… взводный денег просит, отделенный кричит… Где взять? Живот у меня надорванный… еще мальчонком надорвал… Кила у меня, барин… Ох, господи, господи!

Ромашов близко нагнулся над головой, которая исступленно моталась у него на коленях. Он услышал запах грязного, нездорового тела и немытых волос и прокислый запах шинели, которой покрывались во время сна. Бесконечная скорбь, ужас, непонимание и глубокая, виноватая жалость переполнили сердце офицера и до боли сжали и стеснили его. И, тихо склоняясь к стриженой, колючей, грязной голове, он прошептал чуть слышно:

— Брат мой!

Хлебников схватил руку офицера, и Ромашов почувствовал на ней вместе с теплыми каплями слез холодное и липкое прикосновение чужих губ. Но он не отнимал своей руки и говорил простые, трогательные, успокоительные слова, какие говорит взрослый обиженному ребенку.

Потом он сам отвел Хлебникова в лагерь. Пришлось вызывать дежурного по роте унтер-офицера Шаповаленко. Тот вышел в одном нижнем белье, зевая, щурясь и почесывая себе то спину, то живот.

Ромашов приказал ему сейчас же сменить Хлебникова с дневальства. Шаповаленко пробовал было возражать:

— Так что, ваше благородие, им еще не подошла смена!..

— Не разговаривать! — крикнул на него Ромашов. — Скажешь завтра ротному командиру, что я так приказал… Так ты придешь завтра ко мне? — спросил он Хлебникова, и тот молча ответил ему робким, благодарным взглядом.

Медленно шел Ромашов вдоль лагеря, возвращаясь домой. Шепот в одной из палаток заставил его остановиться и прислушаться. Кто-то полузадушенным тягучим голосом рассказывал сказку:

— Во-от посылает той самый черт до того солдата самого свово главного вовшебника. Вот приходит той вовшебник и говорит: «Солдат, а солдат, я тебя зъем!» А солдат ему отвечает и говорит: «Ни, ты меня не можешь зъесть, так что я и сам вовшебник!»

Ромашов опять подошел к выемке. Чувство нелепости, сумбурности, непонятности жизни угнетало его. Остановившись на откосе, он поднял глаза вверх, к небу. Там по-прежнему был холодный простор и бесконечный ужас. И почти неожиданно для самого себя, подняв кулаки над головою и потрясая ими, Ромашов закричал бешено:

— Ты! Старый обманщик! Если ты чтототонибудь можешь и смеешь, то… ну вот: сделай так, чтобы я сейчас сломал себе ногу.

Он стремглав, закрывши глаза, бросился вниз с крутого откоса, двумя скачками перепрыгнул рельсы и, не останавливаясь, одним духом взобрался наверх. Ноздри у него раздулись, грудь порывисто дышала. Но в душе у него вдруг вспыхнула гордая, дерзкая и злая отвага.